ШАТКАЯ ПОЧВА

1

Михаил Петрович ощущал на собственной шкуре, что жизнь тяжела и непредсказуема. Но за последнее время получалось так, что философские обобщения не только не помогали, но и мешали жить. При всей глубокомысленности афоризмов, придуманных умными и незаурядными людьми, в них заключалось что-то удивительно фальшивое, и Аргунов как-то особенно глубоко ощущал эту фальшь.

«Жизнь тяжела и непредсказуема», «времена не выбирают», «не верь, не бойся, не проси», «Бог терпел и нам велел» – все эти готовые, тысячу раз прокрученные в голове утверждения давно уже не были для него фундаментом внутренней жизни. И чем умнее, чем законченнее, чем лапидарнее было такое умозаключение, тем сильнее оно раздражало Аргунова именно своей фальшью, хотя, по сути своей, было верно. И в этом заключался весь парадокс.

Он понимал, что пустое умничанье – тупиковый путь развития как человечества вообще, так и конкретного человека в частности. Ведь сколько существует людей, которые не воспринимают это умничанье, не читают книг, не слушают хорошей музыки, равнодушны к изобразительному искусству, науке, философии, вообще равнодушны к высшим проявлениям человеческого духа, и тем не менее эти-то люди как раз часто и бывают особенно жизнерадостны и счастливы.

Все чаще и чаще он чувствовал шаткую почву под ногами и в ужасе осознавал, что ему не на что опереться. Мир, казалось, летел в тартарары. Иногда Аргунов внушал себе, что все вовсе не так, совсем даже не так, что это не тот объективный, сегодняшний мир летит в Никуда, а тот, который существовал раньше и которого никогда уже не будет – тот мир, который он сам придумал для себя.

Этой весной произошло событие, которое нельзя было считать значительным, однако своей внутренней символикой оно обострило те самые противоречия, которые давно уже омрачали жизнь Аргунова.

На отцовской могиле упал памятник. Упал, разбив ребром одну из гранитных стенок цветника. По-видимому, его подмыло талыми водами.

Памятник был поставлен в августе, и на него еще не кончилась гарантия.

– Что вы от меня хотите, – отвечал Аргунову бойкий и розовощекий кладбищенский служащий, чем-то напоминающий поросенка, когда Михаил Петрович усомнился в правильности установки памятника. – Я ведь его не ронял. А поставили его летом правильно, по инструкции, как и полагается – на трубах. Я же не виноват, что здесь почва под ногами ходит.

– Как это ходит? – не понял Михаил Петрович.

– А так – ходит! Почва шаткая.

Ушлый ритуальщик и представить себе не мог, какое глубокое впечатление произведут его слова на этого лохастого очкастого мужичка, одетого в потрепанный джинсовый костюм с дырками на локтях и коленях.

«Шаткая почва». Это словосочетание не давало Михаилу Петровичу покоя, преследовало его, обретая все новые и новые переносные значения.

Однажды, проснувшись утром, он вдруг понял, что кладбищенский клерк не сказал ничего нового. Аргунов всю жизнь прошагал по шаткой почве, всю жизнь чувствовал колебание непокорной земли под нестойкими ногами, а теперь это колебание выросло до фантастических размеров, и бедному писателю стало совсем не по себе.

Пожалуй, не было ни одной сферы в жизни, в которой бы Михаил Петрович не разочаровался, и это не могло его особенно радовать.

Но, с другой стороны, не было и ни одного дела, которому бы он мог отдаться полностью, без оглядки.

Михаил Петрович был одаренным, даже талантливым прозаиком, но сам он никогда себя писателем не называл, поскольку понимал, что в народном сознании писателями могут быть только Пушкин и Лев Толстой. Однако такое реальное отношение к своему писательству сыграло с Аргуновым злую шутку. Поскольку сам он не произнес волшебные слова, эти пресловутые «крекс-пекс-фекс», гипноз массового читателя так и не состоялся.

Однако чем старше становился Михаил Петрович, чем лучше он писал, тем больше публикаций у него появлялось, чем больше премий ему удалось получить, тем ощутимее становилось поле отчуждения между ним и его коллегами.

Он уже давно дорос до той стадии развития, когда собственное имя, набранное типографским шрифтом, не вызывает бурных эмоций. Творчество для него стало чем-то очень личным и в то же время единственным каналом, при помощи которого невоцерковленный Аргунов общался с Богом.

2

Виктор Ксенофонтович с детства любил все красивое, и животная грубость окружающей жизни сильно ранила его тонкую душу. Эта грубость была отвратительна ему с детских лет, и спасался он от нее только чтением и одинокими прогулками по окскому берегу.

Жизнью в районном городке он тяготился. Друзей настоящих у него никогда не было. После окончания строительного техникума женился на девушке из областного центра, затем, разочаровавшись в работе строителя, поступил в культпросветучилище, а потом и в Казанский институт культуры, где учился заочно.

Но все это была только внешняя канва его жизни. Внутренняя жизнь Вити Семенычева была известна только ему, и он тщательно скрывал ее от жены и сослуживцев.

Жену он не любил, да и она давно уже не испытывала к Вите теплых чувств. Они жили, как живут соседи – почти не ругаясь, но и не влезая в жизнь друг друга. Валентина Ивановна относилась к Виктору как к большому ребенку – незлобивому, странному, но в то же время чужому. Если бы у них были дети, тогда, конечно, Валя не считала бы свою жизнь неудачной да и к недостаткам мужа относилась бы куда спокойнее, терпимее.

А какие недостатки были у Виктора? Если бы этот вопрос задали его коллегам по библиотеке, то многие из них только пожали плечами. Похоже, что недостатков у Семенычева совсем не было. Тихий, незлобивый с виду человек, редактор невзрачных сборников научных трудов библиотеки, руководитель редакционно-издательского отдела, именуемого коллегами не иначе как «РИО». Знали, что он пишет унылые, не всегда хорошо зарифмованные стихи, изредка публикующиеся в местной периодике, что живет в крошечной однокомнатной квартирке со злобной, сварливой женщиной.

Семенычев никогда никому не сделал ничего плохого, да он и не способен был на плохой и подлый поступок, но тем не менее его не любили.

За что не любили? Наверное, за отстраненность, необщительность. За то, что уходил с работы ровно в семнадцать часов, ни разу не задержавшись, что на производственных собраниях чаще отмалчивался, криво и виновато улыбаясь.

Правда, с работой он справлялся. Но и работа у Виктора была несложная, и до пяти вечера совсем не обязательно было в библиотеке сидеть, можно было и раньше сделать свое дело и идти домой со спокойной совестью. Надзирателей у него не было. Но Семенычев не мог уйти с работы раньше. Он не мог нарушить дисциплину.

Единственный мужчина в большом коллективе библиотеки (за исключением охранников и сантехника), Витя совершенно не интересовал женщин – ни как человек, ни как мужчина.

Некоторые считали его странным, чуть ли не шизофреником.

И тем не менее Семенычев-то как раз был человеком нормальным, даже более чем нормальным. Он был посредственным. И эта его посредственность, серость, ограниченность выявлялась во всем – и в манере говорить, и в болтающихся на ниточках пуговицах старомодного пиджака, и в треснутых очках, замотанных синей изолентой, и в тех брошюрках на кривых тонких скрепках, которые он вместе с прыщавой девушкой Лизой, страдающей детским церебральным параличом, печатал на ротапринте.

Чем посредственней казался Семенычев окружающим, чем бледнее и карикатурнее казалась его убогая жизнь, тем напряженней, тем истинней и безыскусней была у него жизнь внутренняя.

Имелась у него еще одна беда, которую он вовсе не считал бедою. Тонкое восприятие мира, данное ему от рождения, Витя неправильно связал со способностями писать об этом мире. Литературного дара у него явно не было, но осознать это Виктор Ксенофонтович не мог.

Казалось ему, что если он так глубоко чувствует природу и стихи других людей, то писать он явно может, и не хуже, чем другие.

Валентина Ивановна читала его стихи, и они ей не нравились. Не нравились вовсе не потому, что она понимала, что они плохие. Стихи не могли нравиться Валентине Ивановне по определению, поскольку она вообще не понимала, зачем люди пишут в рифму, когда все может быть понятно и без нее. Она читала разве что женские романы и кулинарные книги.

Как мы писали, Валя давно уже не любила мужа, но все же не была к его судьбе полностью равнодушна, поскольку их связывали долгие годы совместной жизни.

– Ну что ты всегда один да один! – сказала она ему как-то. – Ты же стихи пишешь! А в нашем городе есть писатели. Я вот слыхала, кто-то на улице кричал в микрофон: «союз писателей, союз писателей!» Выступали какие-то длинноволосые очкастые мужички. Один даже на гитаре играл и пел. Я постояла, послушала. Пойди к ним, пусть они тебя в свой союз запишут. Будете друг дружке стихи читать. Все же лучше, чем по берегу одному шататься. Там шпана одна собирается, а тут люди культурные, с образованием, при книгах к тому же.

И Виктор Ксенофонтович внял ее словам, зашел в местное отделение Союза писателей, поскольку и находилось оно неподалеку от окского берега, по которому он часто одиноко прогуливался.

В небольшой комнатке, с пола до потолка увешанной грамотами в красивых разноцветных рамках, сидел, глядя на тусклый экран монитора, седовласый человек, одетый в клетчатую домашнюю рубашку и потертые джинсы.

Николай Степанович был явно не в духе. А надо сказать, что этот самый Николай Степанович, председатель правления писательской организации, и пришедший к нему Виктор Ксенофонтович, не только родились под одним знаком зодиака. Они были похожи во всем и различались только мерой посредственности. Если Николай Степанович представлял собой посредственность среднего уровня, то Витя был уже ниже всякого уровня, но при этом он тоже был посредственностью

Нельзя быть слегка посредственным, как нельзя быть немного беременной – возразит, наверное, читатель, и будет прав. Но мы живем в мире парадоксов, и с этим утверждением никакой здравомыслящий читатель спорить не будет, поскольку это факт эмпирический. И один из парадоксов, действительно, заключается в том, что нельзя быть «не-
много посредственным», и в то же время уровни посредственности все же можно обозначить, во всяком случае вчерне.

Николай Степанович увидел робкого человека в старомодном мятом пиджаке, и ему сразу этот человек понравился. Во-первых, тем, что было в нем что-то узнаваемое, застенчивость была какая-то, скромность. Он не открывал дверь ногой и, по-видимому, имел уважение к Николаю Степановичу.

А последнее время Николай Степанович сильно переживал из-за того, что его перестали уважать. Сказать по правде, его и раньше-то никто особенно не уважал. Но в молодости Николай Степанович еще не хотел, чтобы его сильно уважали и всегда оказывали ему знаки уважения. Молодых людей и не надо уважать, они сами должны уважать старших.

И вот наступило такое время, когда Николай Степанович явно перешел в разряд старших, но тем не менее уважение к нему почему-то не родилось, не возникло само по себе, просто так, «по умолчанию», как говорят программисты.

Он не принадлежал к тому типу людей, которые привыкли винить во всем себя и только себя. Николай Степанович был убежден, что во всех его неудачах виноваты другие люди – амбициозные политики, развалившие великую державу, а вкупе с ней и возможность зарабатывать деньги литературным трудом, всевозможные завистники и интриганы, областные власти, не желающие оплачивать издания его бессмертных произведений.

Посмотреть же со стороны на свои произведения он не мог. Считающий себя прозаиком Николай Степанович не писал ни романов, ни повестей, ни рассказов. Он производил на свет однообразные скучные «очерки», в которых неизменно склонял слово «духовность».

Витя Семенычев тоже не мог посмотреть со стороны на свои стихи, но, в отличие от Николая Степановича, он вовсе не хотел их публиковать, не было у него такого желания. И писателем он быть вовсе не хотел. Просто ему надоело одному ходить по бетонной набережной и захотелось прочитать свои стихи этому благообразному, обстоятельному, седому мужчине, к тому же писателю.

Так получилось, что в этот день Витя прочитал Николаю Степановичу не только свои стихи, но и рассказал, что, кроме стихов, его ничего не интересует. Работу свою он не любит, жена давно раздражает его своей тупостью, а детей у него нет.

Николай Степанович предложил ему выпить водки. Витя почти не пил в реальной жизни, но здесь, в этой комнатке, обвешанной грамотами, все было совсем по-другому. Здесь было тепло и уютно, как дома. Более того – здесь было даже лучше, чем дома.

Водка быстро ударила в голову, и Витя почувствовал, как его тоска ушла куда-то.

С тех пор он стал заходить в писательскую организацию и редко там видел кого-нибудь, кроме Николая Степановича. Они каждый раз выпивали, и каждый раз Витя ощущал под грудиной какой-то теплый, нежный комок, который говорил ему: «Не все так плохо, браток, не все так плохо».

Николай Степанович почти всегда вещал о себе, о своих многочисленных врагах, мешающих ему создавать и культивировать духовность, но Витя не слушал его. Ему нравилось только читать стихи и ощущать комок под грудиной.

– Зря ты туда ходишь, – заявила ему как-то Валентина Ивановна. –
Алкашом тебя эти писатели заделают. Сами-то небось горькие пьяницы. Прости ты меня, что дала тебе дурной совет – направила в их заведение. Не знала я, что там алконавты одни.

Но Витя не слушал жену. Мало ли что кудахчет эта рябая курица! Ей бы яйца нести, но она не может. Ни роду ни плоду. Бесплодная смоковница. У него хоть стихи есть. А она только женские романы листает, лузгает семечки подсолнуха да в телевизор пялится

Однажды Николай Степанович предложил Вите издать книжку стихов.

– Не беспокойся, я спонсоров найду. Есть у меня меценат один, который мне с журналом помогает, он депутат городской думы и доктор наук. Экономических. Умный мужик, понимает, что духовность поддерживать надо! Он и сам неплохие стихи пишет. Хуже, конечно, чем мы, профессионалы. Но что с него взять – депутат, профессор!

Витя сильно удивился, что у него может быть своя книга, но послушался Николая Степановича, отправил ему сотню стихотворений по электронной почте, а месяца через два держал уже в руках изящно изданную, пахнущую типографской краской тонкую книжечку. И название у книжечки было самое что ни на есть поэтическое – «Вдохновение».

Книжка произвела огромное впечатление на Валентину Ивановну. Когда те же самые стихи были накарябаны шариковой ручкой в дешевом блокноте, они производили совсем не то впечатление. А тут… книга. Книга! Как у настоящего писателя.

«Кто знает, может быть, Витёк-то мой действительно хорошо пишет, раз ему книжку издали? – думала она. – Впрочем, какая нам польза
от этого, коли за книги деньги не *плотят* (она именно так, через «о», произносила это слово).

– Скажи-ка, Виктор Батькович, – изрекла она однажды, – а почему это вдруг депутат за твою книжку свои башли выложил? Понравились ему стишки, что ли?

– Ты, Валя, совсем не понимаешь спонсоров, – ответил Виктор. – Книжку он вообще читать не будет. Но он считает, что должен поддерживать поэзию. У него убеждения такие, принципы!

«Поддерживать поэзию… – подумала Валентина Ивановна. – Зачем ее поддерживать? Вот чистоту поддерживать надо. А поэзию? Какой с нее прок?»

Однако Валентина Ивановна не была такой уж ограниченной, как может показаться читателю. Если она чего-то не понимала, то часто винила в этом прежде всего себя. Решила она (и совершенно справедливо!), что если поэзию кто-то поддерживает, то так и должно быть. Значит, не должна эта самая поэзия пропадать только из-за того, что ей, Валентине Батьковне, она как телеге пятое колесо. Стало быть, стишки Витькины кому-то нужны.

Через месяц после выхода книжки, очередной раз распивая водку в своем кабинете в небольшой компании членов правления, а точнее, пожилых морщинистых мужичков в советских пиджаках, обильно усыпанных перхотью, Николай Степанович предложил принять Виктора Ксенофонтовича в Союз писателей.

– Книжка у него уже есть, – добавил он. – Примем его?

– Принимать мы можем только на общем собрании, – возразил прозаик Метнев .

– Ну вот и примем, – ответил Николай Степанович. – Открытым голосованием. Никто против него голосовать не будет. Ты сам-то хочешь к нам?

Витя был честным человеком. Он не понимал, зачем ему нужно вступать в Союз писателей. Ведь пить водку с Николаем Степановичем можно и без этого. Но он чувствовал, какого ответа от него ждут, и ответил:

– Хочу.

3

Аргунов не хотел идти на собрание. Он уже давно разочаровался в Союзе как в организации мертвой, формальной, ничем не желающей помочь писателю. И все же не мог полностью оторвать себя от старенького, с обваливающейся штукатуркой, двухэтажного особнячка на набережной Оки, построенного знаменитым в свое время в городе купцом-тугодумом, крестившим высокий морщинистый лоб двумя кривыми корявыми перстами. Здесь прошли юность, молодость, да и зрелые годы Аргунова

Теперь там все изменилось, даже машину поставить было негде. Повсюду красовались наглые знаки платных парковок, появились новые кафе и магазины. И ничто уже не напоминало время благообразного и степенного купца-старообрядца, отдавшего свой дом городской думе и построившего в городе несколько ночлежек и вдовьих приютов.

Весь этот квартал, расположенный неподалеку от речного вокзала, полностью преобразился. Стены домов обделали разноцветным декоративным кирпичом, а кое-где облицевали гранитом и мрамором. На набережной исчезли ужасающие ямы.

Но чем ровнее, чем красивей становилось дорожное покрытие набережной Оки и прилегающих к ним кварталов, тем отчетливей ощущал Аргунов шаткую почву под ногами. Казалось ему, что скоро, совсем скоро наступит такой момент, когда все эти современные строения, как неустойчивые карточные домики, упадут и обратятся в прах

Он не появлялся в этом здании более года. И совсем не потому, что люди в мятых пиджаках, входящие в правление и возглавлявший это самое правление седовласый и благообразный Николай Степанович были ему как-то особенно неприятны. Скорей всего, он просто чувствовал, что та самая «духовность», о которой постоянно говорил председатель, сродни сухим дохлым мухам, валяющимся между рамами. А мертвечина была ему не по душе.

На старом потрескавшемся пианино лежало несколько самодельных книжечек на скрепках, и одна из них была Витина книжка, то самое «Вдохновение», которое выпустил Николай Степанович на деньги депутата-сочинителя.

Почитав стихи, Аргунов вновь почувствовал, как под его ногами ходит земля. С одной стороны, совсем не было ничего ужасного в том, что эти беспомощные тексты были набраны типографским шрифтом. Но с другой стороны, очень понятной Аргунову, вся история изящной словесности как нашего отечества, так и других стран ярко свидетельствовала о том, что именно такие произведения и не должны как раз этим самым типографским шрифтом набираться. Они имели полное право существовать на поздравительных открытках, в блокнотах, альбомах, ученических тетрадках, даже в загадочном и до конца не понятном Михаилу Петровичу интернете. Но никак не в книге, поскольку книга – вещь особая, святая для нас. Это ощущение было для Аргунова настолько органичным, настолько продиктованным его предыдущей жизнью, что он посчитал книжечку Вити какой-то ошибкой, нелепой шуткой, чем-то таким, чем заниматься кощунственно.

Михаил Петрович узнал, что кроме этого Вити планируется «вступить» в союз еще восемь человек – шесть поэтов и двух очеркистов, пишущих, разумеется, о духовности. Голосовать против этих людей Аргунов не хотел – ему не нужны были враги. Но голосовать за них он не мог тем более. Что оставалось делать?

«Сейчас я скажу, что буду воздерживаться, поскольку не читал этих книг», – подумал Михаил Петрович. Но тут же поймал себя на том, что и в воздержании от голосования содержится какая-то чудовищная неправда.

Он пошел в туалет по гнилым, колеблющимся доскам, и ощущение шаткой почвы вновь овладело всем его существом, и он почувствовал, как закружилась у него голова.

Зачем, зачем, Миша? Зачем ты полез на эту карусель? Ведь эта карусель для больших детишек, а ты еще маленький, маленький… Он отчетливо услыхал мамин голос, вспомнил, как остро пахла резеда в городском парке, вспомнил эти ужасные карусели, окурки на земле, коричневатую бутылку из-под лимонада «Буратино» с отколотым горлышком. Зачем-то ее бросили прямо в клумбу, прямо в резеду и анютины глазки. Зачем, зачем? Разве так можно? Да и почва-то у нас шаткая, шаткая.

В туалете Михаил Петрович умылся, посмотрел в небольшое зеркальце над раковиной, медленно причесал волосы деревянной расческой с надписью «Из Сибири – с любовью!» и окончательно пришел в себя. Нет, все не так. Ничего ужасного не произошло! Он совсем не изменился! Совсем не изменился! Изменился мир, который его окружает.

Вот где собака зарыта! Так что он, Миша Аргунов, совсем не виноват в той карусели, в той чудовищной свистопляске, охватившей всю нашу землю.

Он понял, что надо делать.

Аргунов тихо прикрыл дверь туалета, тихонько прошел мимо актового зала, где уже началось собрание и где седовласый председатель что-то бубнил загробным голосом, как будто читал псалтырь возле покойника.

Спустился по лестнице, вышел на берег Оки.

На набережной стоял пухлый гаишник с мешками под глазами и смотрел с видом римского патриция на то, как эвакуатор поднимает не по закону припаркованное авто. Машина чуть раскачивалась на крючьях.

Аргунов широкими шагами шел по набережной. До того места, где он оставил свой автомобиль, было не меньше километра. Ничего страшного! Ведь его машину еще не забрали!

И плевать ему было на гаишников, на Союз писателей, на шаткую почву!

У него пока еще было его творчество, отобрать которое никто не в силах.